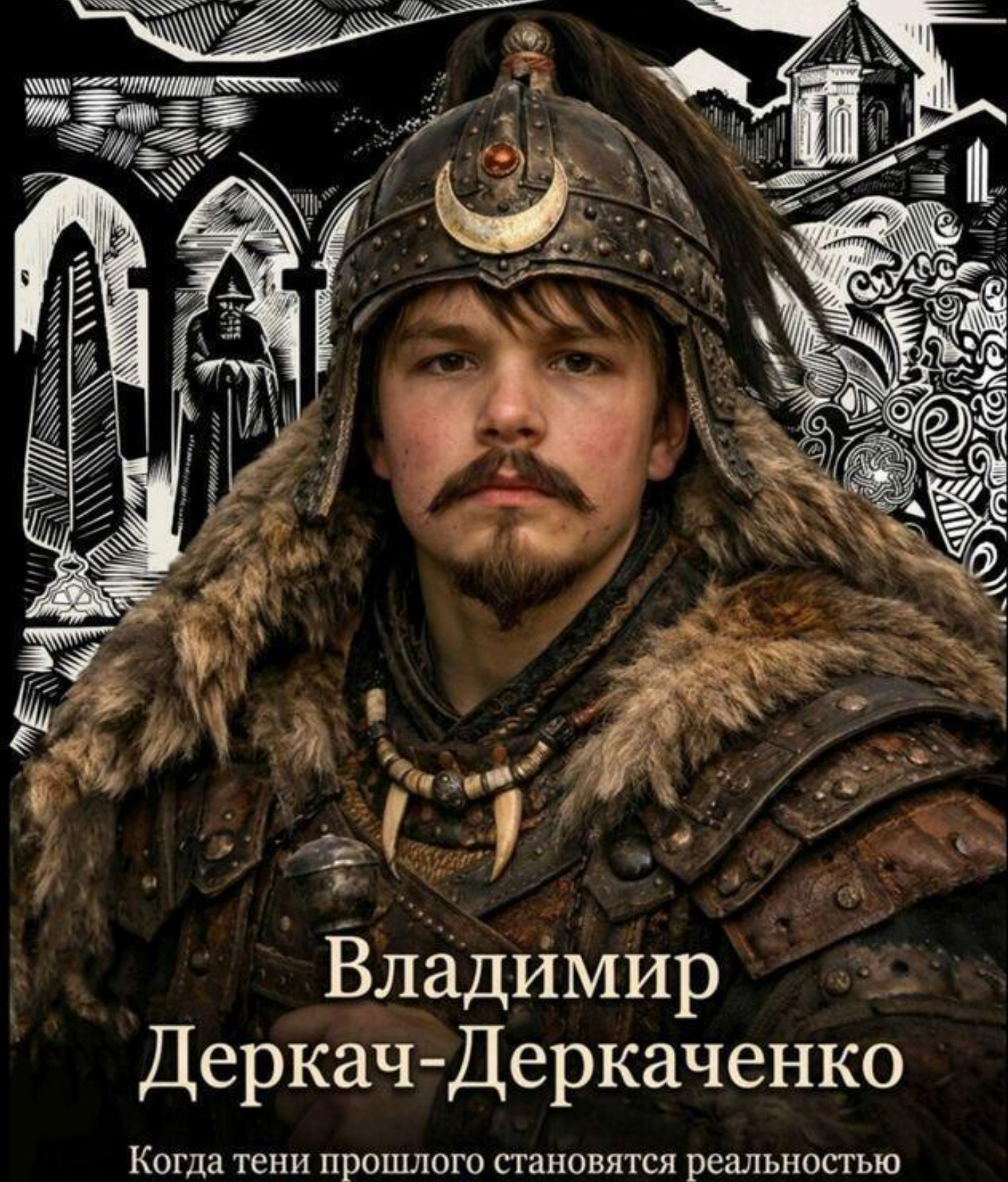


12+

ПРИШЕЛЬЦЫ НАД СОЛХАТОМ



Владимир
Деркач-Деркаченко

Когда тени прошлого становятся реальностью

Владимир Деркач-Деркаченко

Пришельцы над Солхатом

«Издательские решения»

Деркач-Деркаченко В.

Пришельцы над Солхатом / В. Деркач-Деркаченко —
«Издательские решения»,

Книга показывает уникальность любого человека или события несмотря на их повторяемость. Повторяемость в истории называется уроком.

© Деркач-Деркаченко В.
© Издательские решения

Содержание

КТО ЕСТЬ ВЕЗДЕ ТОГО НЕТ НИГДЕ	6
НЕОЖИДАННАЯ ПРОСЬБА	10
КРЫМ — ЭТО СУРЬ-ХАЧ	12
САДЫ	15
БОГИ	19
ДОРОГА В СУГДЕЮ	23
ПЕЧАТЬ ОВАНЕСА	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Пришельцы над Солхатом

Владимир Деркач-Деркаченко

© Владимир Деркач-Деркаченко, 2026

ISBN 978-5-0070-2801-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Copyright © Vladimir Derkach, author and publisher, 2026

All rights reserved. No parts of this book may be reproduced in any form, except for the inclusion of brief quotations in a review, without permission in writing from the author or publisher.

© Владимир Деркач-Деркаченко, автор, издатель, 2026

Воспроизведение всей книги или любой ее части, за исключением использования кратких выдержек из текста при написании обзорных статей, без письменного разрешения автора и издателя запрещено.

КТО ЕСТЬ ВЕЗДЕ ТОГО НЕТ НИГДЕ

Эпиграф: Гиппократ: Люди всегда были такими же, как теперь; только средства их изменились.

Топор ударил в колесо остановившейся арбы, и оно, вопреки всем законам лесного безмолвия и к немалому удивлению Данилы, вдруг треснуло с таким сухим и окончательным стоном, будто только и ждало этого милосердного повода, чтобы наконец развалиться на части, ведь вещи, как и люди, имеют свой предел терпения, после которого им остается только рассыпаться прахом под ногами судьбы. Повозка, лишившись своей круглой опоры, осела на бок, заставив вола издать протяжный, полный неизбывной тоски мык, в котором слышалось не столько сострадание к хозяину, сколько глубокое разочарование в самом порядке мироздания, и в этот момент из густых зарослей кизила, которые ещё мгновение назад казались лишь частью неподвижного пейзажа, стали один за другим выходить разбойники, приближаясь к своей добыче той медленной, тягучей походкой, какой хищники приближаются к жертве, зная, что спешить теперь решительно некуда, ибо время здесь, в тени деревьев, остановилось так же надёжно, как и эта несчастная арба.

— Что же ты наделал Данила-джан?! Как мы теперь всё это добро до лагеря дотащим?

— Давай здесь я буду думать, да?! Две бараньи башки в один котёл не поместятся!

Ногай обиженно оглянулся, ища сочувствия у товарищей, но остальные разбойники уже успели погрузиться в ту особую форму молчаливой сосредоточенности, которая всегда овладевает людьми при виде чужого имущества, подлежащего дележу, и потому никто не обратил внимания на шутку, столь некстати сорвавшуюся с губ жоака. Хозяин же арбы, о котором в суете поломки на мгновение забыли, стоял у дерева, вжимаясь в него спиной так истово, будто надеялся слиться с корой, и лицо его, принявшее оттенок сырой глины, не выражало уже ничего, кроме покорного ожидания той последней участи, что рано или поздно настигает каждого, кто рискнул выйти в путь без должного покровительства небес или хотя бы крепких колёс.

— Колесо исправишь? — спросил Данила.

— Чем? — в ужасе взвизгнул возница.

— Тогда бери своего быка и проваливай! Ты нас не видел.

И пока разбойники с пустыми глазами и руками, привыкшими хватать раньше, чем думать, с торопливой и почти обидчивой жадностью вспарывали мешки, будто чрево поверженного зверя, выбирая из поклажи то, что казалось им достойным унести дальше, возница уже распрягал вола, делая это тихо, без суеты, словно совершал привычный обряд прощания, и вскоре исчез за поворотом дороги, уходящей к Солхату, туда, где слова легче правды и где любой рассказ принимают не потому, что верят, а потому, что за ним следует наказание. «Там он явно насвистит наибу, будто бы потерял всё своё добро, что все его четыре арбы и пять арабских скакунов были украдены и он такой одиноко-куражный смог отбить только одного рака. Наиб, человек неглупый и недобрый, поймёт, что этот шмуль его разводит, но всё равно велит отсчитать палки, потому что порядок требует боли, а боль требует повода, и на этом они сойдутся, ведь оба знают цену таким сделкам. Но наиб не башбан какой-нибудь, тоже сдирать шерсть любит. Начнёт уши греть по базарам и шакальё дергать. Однако лишний шум, слухи, растасканные по округе, сейчас никому не нужны, особенно тем, кто предпочитает, чтобы зло проходило тихо. Хач замутить он на измену сядет, но лишняя движуха походу нам не нужна...» — подумал Данила, глянув в сторону исчезнувшего возницы.

Когда же налётчики, всё ещё не верившие, что ограбление так быстро закончилось, вернув самое им приглянувшееся в тряпьё, растворились в лесу, дорога осталась пустой и немой,

с переломанной арбой и ненужными вещами, брошенными, как свидетельства, которые никто не станет допрашивать, и только пыль ещё долго не могла осесть, словно сама не понимала, что всё уже случилось и отменить ничего нельзя.

— Айда быстрее! — прокричал Данила. — К вечеру один баур подтянуться должен. Поможет дать крута.

— Язык твой, Даниил-джан, так же загадочен как и поступки твои, — опять возмутился Ногай. — Мы же сегодня с утра, как ты вчера вечером говорил, должны были к Ованесу в Сургач идти. Он обещал охрану для каравана в Сугдею. И где теперь эта работа? Что скажут генуэзцы? Когда Раффаэлло отдаст долг?

— Тебе бельма погасить, ботало вырвать или вареники расшить? Выбирай! Хорош елдачить! — вскричал Данила, начиная окончательно выходить из себя, хотя гнев его был направлен не столько на незадачливого собеседника, сколько на саму несправедливость бытия, ведь если бы кто-то взялся описать всю его никчёмную жизнь, то вполне мог бы уложиться в одну единственную фразу, гласящую, что тот, кто есть везде, того на самом деле нет нигде, и в этом странном и пугающем свойстве заключалась вся суть его существования, ибо его повсюду ловили, про него решительно все знали, и многие даже клялись в сумерках, что видели его собственными глазами, однако потрогать его, убедиться в его плотской реальности не удавалось никому, словно он был не человеком из плоти и крови, а лишь затянувшимся эхом чужого страха или случайным сквозняком в пустом коридоре истории.

Этим августовским утром он никого не грабил. Он отработывал долг, который висел на нём со времён его готского пленения, когда один из ниоткуда появившийся шумль-караим, человек без лишних вопросов и с очень ясным представлением о процентах, при помощи несложных, но вполне действенных манипуляций вызволил Данилу у аланов, независимо от Орды кочевавших, да только продал его долг грекам и готам из Мангупа, совершенно коррумпированного протобандитского сообщества с претензией на полис, поимев свою долю. Данила не был на него в обиде. Он прекрасно понимал, что тот, кто в Книге Жизни записан — тому и жить, а как нет — так и спросить не с кого. Раз уж Вездепроявленный так распорядился и взял деньгами — то это не потеря, а обмен, как говорил шумль, и расстраиваться здесь ни к чему.

Долг, по совести говоря, платежом красен, о чём твердят и в церквях, и на базарах, однако в случае Данилы сей гнёт был столь велик, несоразмерен и непомерно тяжёл, куда весомее того, что некогда пытались накинуть ему на плечи лукавые хазары, отчего в памяти его всё чаще всплывало изречение, подслушанное однажды в кабацком угаре перед самой потасовкой двух разбойников, кои в лаконичности своей превзошли бы и античных мудрецов, ибо один из них, изрёк истину, ставшую для Данилы чуть ли не откровением: долг платят одни только трусы. Но с теми он тогда обошёлся круто, не столько по своей воле, сколько благодаря внезапно подоспевшей помощи аланов, и потому эпизод этот он относил скорее к разряду удачных совпадений, чем собственных заслуг. И, проведя десяток лет в постоянных скитаниях среди всей этой разноплёменной Голодной степи и ознакомившись с языками её представителей, он теперь не только изъяснялся на одном ему понятном наречии, но и мыслил так же. То, что в жизни его будущее было то спереди, то сзади, а чай он пил то перед едой, то после, не вносило в его существование никакого противоречия, что делало Данилу в глазах окружающих непонятым и совершенно неуловимым разбойником, хотя он себя таковым не считал.

Иногда он даже жалел себя, печалился о том, что не является распорядителем собственной жизни, а лишь её покорным ишаком, плетущимся на верёвочке позади хозяина, и Данила даже не пытался выяснять, кто именно за неё тянет, потому что опыт подсказывал ему, что такие приобретённые знания редко приносят облегчение. Но всё же было в этом странное утешение, ибо в любой, даже самый никчёмный момент своей жизни он точно знал, зачем он здесь или там находится и куда идёт, а знание цели, пусть и навязанной, часто заменяет свободу тем, кто слишком долго задержался в пути.

Это утреннее ограбление было необходимым и давно задуманным, чего не скажешь о его добыче, которая вовсе была ему не нужна. И бродягам его она была нужна не более. Данила хотел лишь показать солхатскому найбу, купившему своё место совершенно аморальным способом, что в восточном Крыму ему жизни не будет. И армяне, которые вынуждены были платить ему за возможность провозить безопасно свои товары и хранить генуэзские деньги в Сурб-Хаче и сами генуэзцы, которые были поставлены в затруднительное положение, теперь должны были искать помощи неуловимого разбойника. Сам же Данила не хотел вмешиваться в денежные претензии местных кланов, тем более что оставаться на Сурхате ему было бесперспективно. Сидеть же в балке на Армат-Луке или уходить с отрядом за Агармыш ему порядком надоело. Его готский долг давил теперь настолько, что надо было решать эту назревшую проблему, и чем быстрее — тем лучше.

Он намеревался всё решить одним, и даже, единственным, проверенным способом — шантажом, не как действием, а как состоянием мира, в котором должитель сам однажды устаёт помнить о долге и начинает мечтать лишь о том, чтобы его не было вовсе; ибо если сумму для оплаты долга собрать невозможно, должнику остаётся лишь стать присутствием, мелким и неустрашимым, как гвоздь в сапоге, о котором сперва забывают, потом злятся, а в конце концов снимают сапог, не заботясь уже ни о дороге, ни о пыли на ней.

Придя в лагерь Данила распорядился снести к нему в палатку всё награбленное добро, где он его подробнее и рассмотрит. Он делал это не столько ради учёта, сколько ради понимания сегодняшнего внутреннего состояния подельников. Предводитель не отнимал у своих сотоварищей всякую мелочь, которую они совершенно бессовестно сумели скрысятничать по дороге на становище, но хорошо запоминал это действие и при случае указывал другим разбойникам, что вот посмотрите: вы жизнью рискуете, а ваши подельники у вас же ещё и подворовывают. Те, кто с Данилой провёл много дней, знали об этом, и даже оказывались в таких ситуациях, но выжили и сделали вывод. Поэтому они считали, что раз честь нищего — это отсутствие жадности, то, иншалла, будет день, будет и пища. Те же новички, недавно прибившиеся к банде, будучи замеченными в крысятничестве, выставлялись на самые опасные участки при грабежах или нападениях, чем они по неосведомлённости своей очень гордились, и если Вездесущий оставлял их в живых, то Данила принимал это как знак и даже награждал какой-нибудь безделушкой. Эта восточная идея, как принцип жизни: «иметь долг или ставить человека в ситуацию обязанного чем-то», настолько ему нравилась и он настолько к ней привык, что даже выработал целую стратегию её применения, научившись этому у итальянцев, людей практического склада, которые быстро смекнули, что бакшиш — это не постыдная взятка, а всего лишь причудливая форма налога, неизбежная прелюдия к любому делу. Ведь уши должностных лиц Орды были устроены так, что открывались они лишь на звон монет, и без этого ритуального подношения любые переговоры оставались лишь сотрясанием воздуха, суетой сует, тогда как золото превращало даже враждебное молчание найба в благосклонное согласие, доказывая в очередной раз, что мораль — штука гибкая, особенно когда речь идет о прибыли.

На самом деле Данила уже два долгих года мерил своими шагами лесные дебри, слоняясь с оравой бородатых живорезов по окрестным чащам, где, по правде говоря, дичи водилось столько, что не перестрелять и за вечность, а караванов проходило столько, что не переграбить и за две, однако же он выжидал, и за это время Сурб-Хач, прежде бывший лишь горстью невзрачных землянок, на глазах превратился в каменный трёхэтажный форпост, дерзко вгрызшийся в небо и уже собиравшийся, судя по заложенному в три человеческих роста фундаменту, обзавестись собственной стеной, ибо работа в урочище не затихала ни на миг; камень из окрестных балок везли в количествах неисчислимых, воду из родника давно приручили, направив её по террасам сада, а площадь перед храмом и саму подъездную дорогу вымостили булыжником так плотно, словно хотели раз и навсегда отгородиться от зыбкой лесной грязи.

Здесь, под сенью этих стен, можно было со спокойной душой оставить товар на хранение, или, если нужда придавит, заложить его под честный процент, взять ссуду, составить грамоту или начертать письмо на любом из наречий, на которых изъяснялись в Крыму, а равно и оповестить нужного человека о событии мало-мальски важном, из чего само собой следовало, что армяне водили дела не только со своими соплеменниками, но и со всяким встречным, к кому питали доверие или кто имел при себе веское слово рекомендации, ведь самому монастырю-крепости требовался не столько покой, сколько статус и твёрдое, неоспоримое влияние, и события в ту пору складывались столь удачно, а обстоятельства сплетались столь причудливо, что и впрямь можно было заподозрить вмешательство Божественного Провидения, решившего наконец утихомирить коловратные годы, перевернувшие привычный мир вверх дном, отчего предчувствие некоего великого благоденствия ощущалось у монастырских врат особенно остро, почти физически, словно сам воздух здесь стал гуще и слаще.

НЕОЖИДАННАЯ ПРОСЬБА

В стане разбойников царило оживление и скупщик краденного уже нагло осматривал разные вещи, которые разбойники хотели одновременно и оставить себе, (потому что ещё некоторые из них даже не держали в руках), и сбить, потому что две монеты в кармане — это не мешок с барахлом за потной спиной, а потенциальная радость от вечера, проведённого в местной таверне. Он говорил громко, небрежно их перекладывая и иногда даже бросая, выказывая непонимание такой полной бесполезности вещицы, и давая одну десятую от цены на базаре, поэтому торг шёл весёлый, жёсткий и быстрый. Баур знал, а если не знал, то догадывался, что точка, которую он так жаждал поставить в разговоре с этими потенциальными висельниками, на самом деле не точка, а лишь запятая в длинном списке человеческих прегрешений, ибо время не замирает по воле одного контрабандиста, мечтающего о Сугдее и солёных брызгах в порту, ведь когда море чернеет и становится похожим на остывшую смолу, разделяющую берега, шаланда превращается в крошечную щепку, несущую на себе груз не только запретных товаров, но и человеческих страхов, и хотя ночь кажется надёжным покрывалом, способным укутать судно от любопытных глаз, на самом деле нет ничего более зоркого, чем тишина прибрежного города, где каждый причал имеет уши, а каждая сплетня — крылья, способные обогнать самый быстрый парус, и баур, подгоняемый этим невидимым ветром чужих кривотолков, понимал, что путь на Корсунь — это не просто мили по воде, а попытка проскользнуть между ударами сердца судьбы, которая, как известно, не любит, когда ей пытаются завязать глаза темнотой, ведь в конечном итоге никакая ночь не бывает достаточно чёрной, чтобы утаить то, что люди называют своей тайной, а боги — своей забавой.

Рустем, хазар по крови и скупщик краденного по призванию, хотя и питал тайную склонность к вольной доле кочующего купца-радонита, на деле предпочитал мерить шагами узкую, точно лезвие бритвы, тропу, вьющуюся по самому хребту Незаконной горы, откуда ему было одинаково сподручно спускаться то в долину Правую, где жизнь текла по закону и чину, то в долину Левую, где сами понятия о правилах были столь размыты, что если кто о них и слыхивал, то разве что в виде досужих сказок, и в этом вечном балансировании между светом и тенью он обретал ту полноту бытия, коей лишены люди однозначных поступков.

Ибо в те былинные времена, когда христианам формально возбранялось давать серебро в рост, но церковь, проявляя похвальную гибкость ума, ничего не имела против возврата долга с доброхотным пожертвованием, значительную долю мелкого и среднего ссуживания на местах неизбежно брали на себя иудейские общины, здраво рассудив, что раз во Второзаконии наложено вето на лихву лишь для брата своего, то в отношении небрата рука дающего может быть сколь угодно твёрдой, и, не располагая притом всемирной сетью денежного обмена, подобной той, что сплели тамплиеры, они, благодаря своим многочисленным и спаянным кровью семьям, становились опорой и для простого горожанина, и для мелкого феодала.

В самом деле, рассуждал Рустем, для того чтобы обзавестись звонкой монетой на покупку трёх баранов, вовсе не обязательно было тащиться в Каффу и вязнуть в бумажной волоките генуэзских банков, где за каждой строчкой чудилась петля, гораздо проще и человечнее было заглянуть на базар в лавку к знакомому караиму, дабы получить заём под честное слово и в придачу, точно бонус к сделке, выслушать пару-тройку смешных историй из жизни, в коих караимы, признаться, были непревзойдёнными мастерами, умея скрасить тяжесть долга легкостью слова.

Данила кликнул подручного, велел тому проводить баура под сень своей палатки, и скупщик, до сей секунды пребывавший в некоем томительном полубытии от предчувствий грядущего перехода, мгновенно очнулся и, радостно отозвавшись на зов, поспешно сдал ворох накупленного добра своему охраннику, дабы налегке спуститься к предводителю.

— Шалом Шабат, православные! — пошутил Данила и взял двумя руками протянутую для приветствия правую руку баура, которую он сразу уважительно накрыл своей второй рукой. — Как торговля, Рустем? Как тебе наша добыча? Что про баранов слышно?

— Такие дела Данилджан, трудно стало сбывать товар. Твои головорезы думают, что у меня куча родственников при генуэзском консуле.

— А это не так?! Хорош редьку тереть! Кого ты в этом лесу обвешиваешь? Денарий слезу любит, так что ли?! Эти уроды крови не боятся, а ты их на слезу разводишь. Послушай, какой у меня план появился на следующий месяц, — и Данила жестом пригласит гостя на топчан, словно само это приглашение было первым пунктом в списке тех неизбежных событий, что уже начали свой незримый отсчёт.

Когда баур покинул сумрак палатки, лицо его являло собой картину глубокой печали, и охранники, повинаясь его короткому и резкому знаку, принялись спешно заталкивать всю добычу в мешки, дабы навьючить её на мулов, после чего они без лишних слов оставили лагерь, словно само присутствие здесь стало для них внезапно невыносимым.

— Ногай! Сходи к Ованесу и узнай насчет охраны каравана на следующей неделе. Раз уж ты так мечтал побывать на море! И передай ему это.

Данила протянул завёрнутую в пергамент и перевязанную золотой бечевой книгу. Ногай поправил саблю, поклонился и взял передачу двумя руками.

— Что-нибудь ещё, Данила-мырза?

— Мёду у него возьми. Что-то знобит меня. Ступай с Богом! — он посмотрел вслед удаляющемуся скупщику и перевёл взгляд на замешкавшегося Ногая. — Иди, иди, что замер? На сегодня распоряжений больше не будет!

Ногай, чья голова была до краёв полна тревожных догадок, пустился в путь к монастырю, избирая для этого лишь одному ему ведомые тропы, те самые, что неизменно пролегают повсюду, однако же открываются далеко не всякому взору, словно сама земля решает, кому явить свои тайные складки, а кого оставить блуждать в неведении по проторенным дорогам.

А скупщик-баур шёл по изрезанной канавами после недавнего дождя дороге на Сугдею, и в голове его, словно тяжёлые аметисты в коктебельском прибое, перекатывались мысли о том, как зыбки человеческие планы. Ведь он, человек, чьё слово в степи ценилось выше ханской печати и чья мудрость, казалось, могла предугадать направление ветра ещё до того, как тот зародится в далёких горах, рассчитывал на совсем иной исход этой такой обыденной закупки. Он видел себя уже на полпути к прохладным подвалам Сугдеи, а вместо этого получил просьбу, которая в этих краях звучит как приказ, не терпящий возражений, и это внезапное крушение надежд отозвалось в его душе такой горечью, какую не заглушить ни вином, ни золотом, потому что даже самый уважаемый человек остаётся лишь заложником чужой воли, когда на кону стоят интересы тех, чьи имена произносят шёпотом. Он и без зеркала увидел выражение своего лица, когда выходил из палатки, и оно было не просто печальным, оно было похоже на треснувшую маску старого актёра, осознавшего, что пьеса идёт не по сценарию, но долг и привычка исполнять свою роль взяли верх, и вот уже охранники, не смея задавать вопросы, по одному лишь движению его бровей понимали, что всезнание — это лишь ещё одна форма рабства, заставляющая нас покорно следовать по пути, о котором кто только не грезил. Теперь само завтра становилось таким же призрачным видением, как и сама справедливость в этом мире, где за каждым поворотом караванного пути скрывается новая западня.

КРЫМ — ЭТО СУРЬ-ХАЧ

... Вардапет Тер-Ованес знал Данилу уже давно и частенько предлагал ему ту работу, от которой другие воротили нос, ибо имел Ованес свой тайный интерес и не желал, чтобы влияние монастыря, хоть ещё и не приобретшего величественных храмов и крепостных стен, но уже ставшего по сути главным сейфом Каффы, ставилось кем-то под сомнение. И хотя само поселение армянских монахов в ту пору едва ли походило на святую обитель, Дух Святой уже парил над этими отрогами, а караваны, замиравшие у верхнего фонтана ради глотка воды, разносили по базарам Сугдеи слухи о лесных пришельцах, возводящих камень на камень в урочище, где прежде лишь орехи собирали да охотились, и это растущее присутствие «банковской крепости» пугало генуэзцев своей неявной силой.

Пока землянки заменялись дубовыми срубам, а недавно посаженные черешни давали первый урожай, кочевники-ногайцы, выгрызающие всё зелёное на своем пути, привыкали к новому имени — Сурб-Хач, которое для их уха сливалось с именем самого Солхата, города-оврага, Кырыма, поражавшего путника не столько высотой, сколько внезапным падением в зелёную бездну. В ту пору воды в Солхате было в избытке, а густой кизилитник обещал такое надёжное укрытие, сквозь которое не продрался бы ни один всадник на своей малорослой лошади, и потому вопрос о том куда прятать накопленные тяжким трудом монеты и драгоценные камни находил свой ответ в этих лесах, где монастырь поднимался стражем не только Небесного Слова Божьего, но и земного чеканного тщеславия.

В этом круговороте дней, где греки и рабы их от зари до зари гнули спины на огородах вдоль Чурук-Су, рождавших капусту и баклажаны, армяне стучали молотками в лавках, а караимы, народ книги, вершили счётные дела и монопольно возили в Каффу дрова, ибо солхатский лес ценился на вес золота и требовал особого чутья, доступного лишь тем, кто в нём вырос. Весь этот мир, уставший от яростных ветров завоеваний, наконец почувствовал под ногами твёрдую почву, придя к выводу, что звон монеты мелодичнее лязга стали, и монгольский порядок принёс в Крым тишину столь абсолютную, что побережье украсилось ожерельем микрогосударств, подобных бусинам на нитке, где Каффа, устроившись на великом перегоне между Корчевом и призрачным Херсонесом, рассудила, что своё богатство безопаснее держать в удалённом монастыре-сейфе, нежели на открытом берегу.

Солхат, этот оазис свободы на пересечении путей, нравился всем своей практичностью: он был достаточно далёк от моря, чтобы не опасаться внезапных набегов, и достаточно богат пастбищами Агармышы, чтобы наместник Орды, подобно пауку в центре паутины, мог управлять всем полуостровом, дёргая за тончайшие нити сплетен и слухов. Здесь не спрашивали сначала о Боге, как на рынках Константинополя, а спрашивали о товаре, и эта возможность выгодно торговать и возвращаться домой без опаски за кошелёк делала город малым и великим одновременно. И пока древний Солхат заявлял права на звание столицы, питаемый лесной прохладой и родниками, хан уже бросал тоскливый взгляд на запад, к будущему Бахчисараю, понимая, что вскоре само время развернёт паруса истории и великие артерии причерноморских рек потекут в его руки не просто водой, а самой властью.

Армяне же, утомлённые постоянно нарастающим давлением католических генуэзцев и осознав, наконец, что само открытое поселение в долине не сулит им должного спасения, обратили взоры к горам, где в суровом уединении уже пребывал монастырь Степанос, однако тот служил лишь прибежищем чистого Слова Божьего, не имевшего ни веса в делах мирских, ни воли к защите земного добра, тогда как Сурб-Хач замышлялся с иною, куда более суровой целью, он должен был стать величайшей армянской крепостью Кырыма, нужной любому грядущему завоевателю уже тем, что, обладая мощью, он парадоксальным образом не претендовал на власть. Пока Неаполь Скифский лишь грезил о своем далёком возрождении в качестве

будущего перекрестка полуострова, в основании Сурб-Хача оказались кровно заинтересованы не только гонимые общины, но и те караваны, что не желали или не могли платить пошлины Каффе, предпочитая идти горными тропами в Сугдею, и хотя генуэзцы поначалу высокомерно полагали, что мелкой шавке не под силу укусить слона, конфликт уже созрел в тени монгольского присутствия, ведь новый нойон своим резким гортанным окриком мог в мгновение ока переменить участь портовой цитадели. Пока это касалось лишь звонкой монеты и сроков выплаты дани, но язычники со своими Небесными Духами уже готовы были склониться перед молодой, всезахватывающей силой востока, в то время как византийские ортодоксы терпели поражение за поражением, зажатые между степью и легионами крестоносцев, и в этом халате из противоречий возникла острая нужда в поселении, равноудалённом от всех бурь, месте, откуда за один дневной переход можно было достичь любого торгового центра, и таким средоточием покоя и выгоды суждено было стать Сурб-Хачу или, в местном произношении, Сургату.

...Солнце над Крымскими горами стояло в зените, раскаляя серый камень строящейся апсиды Сурб-Хача так, что к нему было страшно прикоснуться голой ладонью, и Ованес, чей затылок давно приобрёл цвет и фактуру дублёной кожи, медленно обходил кладку, проверяя ровность швов тонкой лучиной, когда внезапный вскрик и глухой звук удара заставили его обернуться, и он увидел, как молодой подмастерье, присланный из долины, застыл над опрокинутым кувшином, из которого белая, густая масса овечьего молока, предназначенного для обеденного подкрепления артели, медленно и неумолимо впитывалась в свежесмешанный раствор, приготовленный для заливки основания алтаря.

— Айр Сурб, не губите, я сейчас, я быстро соберу, — вскрикнул парень, кидаясь к чану и пытаясь вычерпать молоко горстью вместе с известью. — Сказывали в деревне, мол, бабка моя в обмазку печи всегда сливки добавляла, чтоб стояла крепче скалы, не губите, Отец.

Ованес остановился, и тень от его широкополой шляпы, сплетённой из грубой соломы, накрыла перепуганное лицо юноши, и голос его, когда он заговорил, был тихим, как шорох песка в песочных часах.

— Твоя бабка, светлая ей память, пекла хлеб, сынок, а мы здесь строим ковчег для Бога, — и чартарапет, он же настоятель, указал на белёсое пятно, которое уже начало сворачиваться под палящим солнцем. — В печи огонь ласкает глину, и жир там сгорает, оставляя лишь дух, но здесь, в чреве камня, твоё молоко станет ядом, оно не даст извести обнять песок, но проложит между ними невидимую стену из гнили, пройдёт зима, камень вдохнёт влагу, и там, где ты пролил свой обед, родится пустота, сначала тонкая, как волос, а через сто лет такая, что свод рухнет на головы молящихся.

— Так неужто всё вон, Айр Сурб Ованес, там же столько труда? — робко спросил подмастерье, глядя на тяжёлую серую массу.

— Выбрасывай всё, до последней песчинки, — ответил мастер, и в глазах его отразилась та неумолимая правда, которая ведома лишь тем, кто привык мерить время веками, — Камень не прощает сытости, он любит только чистую воду и яростный пот, а бабкины сказки оставь для посиделок у костра, так как там, где нужна крепость на века, молоко годится лишь для того, чтобы поить потомство, а не кормить основание. Иди, очисти чан до блеска, чтобы даже запаха жизни в нем не осталось, прежде чем мы положим новую порцию смерти, из которой родится вечность.

Не выказав ни тени удивления перед лицом суетного мира, настоятель удалился в свою келью, где зимой его неизменно встречало вкрадчивое потрескивание дров, летом — спасительная каменная прохлада, а в любой час и пору — бесконечная череда дел, возникавших из ниоткуда, точно сорняки на заброшенном поле, и если над материальной вселенной он ещё сохранял подобие власти, направляя её своей волей, то состояние духа в этих коварных предгорьях едва ли удерживалось не то что в его руках, но даже в самом поле его зрения, которое и без того простиралось почти сверхъестественно над разноязыким людским муравейником

Солхата, где в последнее время всё чаще и настойчивее, подобно нарастающему гулу перед бурей, шелестело имя разбойника Данилы, человека, чьи черты были настоятельно ведомы куда лучше, чем он был готов признать перед зеркалом собственной совести, и близость эта была столь глубокой, что даже самая зоркая подозрительность не смогла бы разглядеть в их негласном союзе ничего, кроме пустоты.

История, запечатлённая в известняке Солхата и суровом граните Сурб-Хача была для Ованеса лишь застывшим эхом, тогда как подлинная жизнь в этих пределах пульсировала в такт шагам человека, чьё имя поизносили с разной мерой страха в торговых рядах Каффы, в степных ставках нойонов и в туманных донжонах Мангупа, и Данила для генуэзцев был неуловимым призраком, крадущим их прибыль, для монголов — дерзким нарушителем Ясы, а для готов — неоплаченным долгом, который весил больше, чем всё их фамильное золото. И именно этот человек, способный в один вечер проклинать судьбу на латыни, торговаться на тюркском и молиться на греческом, вёл сегодня караван к стоянке у монастырских стен, всё значение которой сводилось к будничному двоесловию «напоить мулов», но в краткости этой таилась необъяснимая притягательность, ведь стоит лишь произнести эти слова вслух, как тотчас заплетается бесконечная беседа, в которой за праздным вопросом о том, что везли в тюках, не дожидаясь ответа, неизменно следует шепот о тайном подземном ходе, словно люди ищут в недрах земли то спасение, которого не находят на её поверхности.

САДЫ

Солхатские купцы, будучи истинными знатоками торгового ремесла, привыкли высчитывать свою прибыль до последнего зёрнышка ячменя, и в этот раз их расчёты не блистали новизной, так как нанять в охрану лесных разбойников было делом в высшей степени противоречивым, но куда более надёжным и дешёвым, чем бить челом нойону, вымаливая десяток монгольских головорезов, хоть это и отдавало контрабандой, но ведь не для каждого же мешка в телеге бегать за ханской тамгой!

Рустем, следуя просьбе, полученной от смотрящего по базару, не медля ни минуты явился в лагерь к Даниле, дабы не только предложить тому работу на грядущей неделе, но и прикупить кое-что из добычи, не уместившейся в сундуках его подельников, и вот однажды тихим утром караван покинул Солхат, где на последней переправе через Чурук-Су к нему присоединились те самые пешие «стражи» с оружием в руках.

— На монастырь лучше идти вдоль речки: и животных напоить всегда можно и себе приятное сделать. По тенёчку-то идти, одно удовольствие, — рассказывал погонщик первой телеги.

— А нападений из лесу не боитесь? — Сёма охотно поддержал разговор, прекрасно зная, что молчание в пути лишь растягивает пространство до невыносимости, а какому путнику не ведомо это странное свойство дороги, когда едва твоя подошва её коснётся, перед глазами начинает маячить цель, и очень скоро она принимается надоедать, а затем и вовсе затмевает собой всё сущее так, что и самой дороги под ногами уже не видно, и ничто не способно сдуть эту навязчивую пелену столь же успешно, как беседа ни о чём, этот лёгкий ветерок слов, который позволяет ногам идти самим по себе, пока дух занят плетением кружев из пустяков.

— Нет! Куда они побегут-то с добычей, в бугры что ли? Да и перебили всяких лиходеев давно. Мы в Солдайю уже лет двадцать как спокойно ходим и торгуем. А в Крыму я бываю редко, но судя по охране к нам приставленной, в местных лесах не всё спокойно. А чья это там сакля под орешником стоит?

— А это семья греков Папандаки здесь обустроилась. Уж никто и не помнит с каких времён здесь обитают и журчание родника слушают, пустили корни, так сказать, оплели ими землю вновь приобретённую, да так, что краше другой, кажется, и нет уже. Вот уж верно говорится, что мы владеем землёй только потому, что обнесли её дувалом из плоского камня, ведь на самом деле всё обстоит ровно наоборот, это земля владеет нами. Оттого этим садовникам и заборы не нужны. Не то, чтобы они спокойствия искали или боялись, что однажды могут увидеть опустевшие сады, где белки будут доедать последние орехи, или злодеи ночью абрикосы обнесут — просто из города в сад ходить не близко. А так: живёшь прямо на рабочем месте! Проснулся — уже в саду. Там же в конце дня и уснул. Там же, наверное, они своих и хоронят. Сад, он постоянной заботы требует. Они, греки-то эти, как-то все секреты знают, какую веточку в предрассветных сумерках прищипнуть, или под какое дерево навоза положить, чтобы урожай был не просто в два раза больше чем у других, а удивлял немало своим постоянством. Только повести эти они держат в тайне и наёмников в работу не берут. Сами по деревьям лазают, словно те же белки, и даже землю вокруг стволов рыхлят сами, будто не доверяют чужим рукам святое дело чаирного сада.

— Сами же и торгуют?

— А вот тут не угадал: к ним перекупщики из Каффы приезжают, хорошие деньги платят. Но в нашей жизни не всё можно измерить звоном монет, да мне кажется, что Папандаки этот звон слышат довольно редко. Я что-то не видел их на базаре. Место и здесь бойкое, караваны из степи в Солдайю проходят, и оттуда возвращаются. Что бы они не везли, шерсть или шкуры, зерно или мясо, но не удержится грубый погонщик и упросит караванщика приостановиться,

мулов напоить, а сам пока свой товар на сладкий урюк или жирные орехи с удовольствием поменяет.

Сад, действительно, был восхитительный. Раскинулся он у горной речки, где серебристая вода не переставая шепчет о древних путях, чьи следы давно стёрлись, но память о которых всё ещё живёт в течении струй, а глубокая тень плодовых деревьев в это самое мгновение убавляет уставшего от утренней работы грека, который прилёт на прохладную землю, ища спасения от зноя. В воздухе, густом и неподвижном, плывёт сладость инжира, смешиваясь с тёплым дыханием трав, и кажется, будто сама земля, совершая свой бесконечный вдох, источает покой и мёд, пока неподалёку пастушка ведёт своих овец, и их тихие колокольчики, позвякивая в такт шагам, вплетаются в переливы реки и ароматы, спускающиеся с отрогов седого Агармыша, словно природа решила соткать единую звуковую ткань, где нет ни начала, ни конца. Всё это происходит одновременно, вода течёт, грек спит, колокольчики звенят, и Око Тенгри, то самое, что на славянском называют вестью небес, а по-татарски Тэнгри Кюзе, взирает на этот мир, где мгновение растягивается в вечность, а мёд жизни стекает по ладоням времени.

Теофилус повернулся к Ногаю:

— Вы кочевники и понятия не имеете, как это трудно содержать сад или пшеничное поле. Знаешь ли ты, что под каждым корнем ореховым лежит большой и плоский камень? А ведь его-то ещё найти надо и приволочь в сад.

— А ореху-то он зачем? — удивился Ногай.

— Поражаюсь я, как вам гемуэзцы дань платят! Судя по тебе, сообразительностью вы не блещете!

— Зато рубим хорошо! Не подумай, что дрова, — засмеялся Ногай.

— Камень ореху нужен, чтобы корни его разбегались в стороны и после наших недолгих дождей вбирали в себя эту драгоценную влагу. Иначе он пойдёт морковкой вглубь, упрётся в сухие слои и перестанет расти. Мы эти деревья ещё палками осенью бьём, видел? А зачем?

— Ну это понятно! Меня в детстве тоже били из лучших побуждений. Только не каждую осень, а каждую неделю, — опять засмеялся Ногай.

— Чтобы лучше плодоносил на следующий год, шалду-балду необразованный! Если кончики ветвей обламывать, то их в следующем году будет больше, значит и орехов прибавит. А ещё есть пшеница, которую всякие серны и муфлоны из леса приходящие сожрать норовят, да и огороды, которые от тли, гусениц и плесени страдают. Так что, мы, земледельцы — это рабы на своей собственной земле. Не уехать, не уйти, ни на день, ни на неделю.

— Поэтому только мы, кочевники, знаем, что такое настоящая свобода... — грустно закончил Ногай и пошёл выгонять ленивого ослика из кустов обратно на дорогу.

— Можно подумать, кочевники могут оставить свою отару или табун на день без присмотра. По-настоящему свободен только нищий... — пробормотал ему вдогонку Теофилус.

Впереди появилось жилище семьи Папандаки. Каменная кладка стены завершалась толстым слоем дёрна на крыше с торчащим из него кустом лопуха. На выступающих из-под неё почерневших дубовых брусках висели горшки с цветущей геранью.

— Герань у порога — это молчаливая молитва дома, — грустно произнёс Теофилус и вздохнул.

В проёме двери показалась пожилая хозяйка и поприветствовала караван.

— На завтрак не остановитесь? — спросила она. — Свежая брынза есть и вчерашняя сладкая коллива. От поминок осталась, помяните заодно...

— Добрый день, Анна! Спасибо за приглашение, помянем, но позже. К полудню мы должны быть на монастыре. Будем возвращаться, на ужин заедем. Барашка запеки, как ты умеешь! — и Теофилус положил ей в руку серебряную монету. — Смотрю, Михаил твой уже утомился, спит в саду. Тоже, наверное, об арни псито мечтает...

— Не знаю, о чём он мечтает, но лодырь он тот ещё! — ответила она, засмеявшись.

Грек Теофилус запрыгнул обратно на подводу.

Ногай не отрываясь смотрел на удаляющуюся саклю, исчезающую в садах.

— Что, задумался над садоводством, или от рабыни-половчанки глаз отвести не можешь? Понимаю тебя, и наречие её на твоё похоже и она пригожа, да только ты наверное, не в теме её цены. Михаил на рынке в Каффе по знакомству её купил. Цену тебе назвать, чтобы ты успокоился?

— Назови, коль не секрет!

— Да какой секрет!? Михаил всему Солхату растрезвонил, дескать, такая красавица и почти задаром досталась: 40 баранов! У тебя хотя бы один есть? Так что сиди и смотри вперёд, а не назад. Там впереди тебя ждёт жизнь, полная интересных событий и на всё воля Божья, глядишь и с тебя рабское клеймо смоем и наложницу подарит.

Сёма повернулся к нему и игриво спросил:

— Вот ты, Теофилус, можешь мне сказать: зачем твоей веры люди так много времени проводят на обряде? Оказался я как-то раз на службе в Каффе в местной церкви. Из интереса, не корысти ради. И вот, что я заметил: служба шла примерно полдня. За это время я, на базаре, мог бы продать восемь мешков пшеницы. А это, ты понимаешь, месячный доход простого пахаря. Одно дело, когда мы собираемся по пятницам и обмениваемся известиями: кто где чего и по какой цене купил, а также строим планы и делимся трудностями. А другое дело — провести полдня в церкви. Несмотря на то, что я понимаю по-гречески, я так и не понял для чего я туда пришёл. Чище я не стал, добрее я не сделался, спокойствия я не обрёл, проблемы моей жизни не решились. Вопрос... Я боюсь тебя обидеть, а зачем тебе, уважаемый Теофилус, всё это?

— Так в семье моей испокон веков делали, а сомнения — это от лукавого, — произнёс с ноткой назидательности в голосе Теофилус. Он не любил, когда трогали Его бога и считал свою веру чем-то очень и очень личным. Единственное, что он принимал безоговорочно, так это обсуждение веры в пределах церкви. В этом священном месте, считал он, говорить или даже спорить о Боге было уместным и даже необходимым. В любом другом месте даже упоминание о Вездепредставленном он считал святотатством и всячески избегал таких разговоров.

Теофилус был огромным бородатым монстром с тонкой душой, способной выстраиваться в одну линию с происходящим, не выступая за края и не создавая зазубрин, а потому обидеть Теофилуса было невозможно, но если кому-то, не сильно отягощённому воспитанием в детстве, ибо действительно правы повидавшие на своём веку и умудрённые жизнью матушки всех племён и народов, повторяя, что учить ребёнка надо было, когда он поперёк лавки лежал, вдруг вздумывалось изъять из себя судью, всему миру меру знающему и мнящего себя вправе на повышенных тонах изрекать приговоры, и если этот кто-то принимался кричать, топтать ногами или, размахивая руками, осыпать его проклятиями, то со стороны казалось, будто Теофилус с искренним любопытством озирается по сторонам в поисках того несчастного объекта, на которого собеседник вываливает столь щедрые порции негодования, ибо он и представить себе не мог, что все эти ругательства и колючие слова могут быть направлены на него самого, ведь с его точки зрения мир пребывал в неподвижном покое и не совершал никаких прыжков, которые могли бы оправдать подобный гнев, а на заявления свидетелей конфликта, тоже неведомо почему эмоционально пострадавших и в порыве благородного возмущения восклицавших, Я бы такого ни за что не потерпел, он лишь грустно вопрошал: Дайте мне сперва определение того, что вы называете Я, кто это или что это такое, и тогда братва замирала в безмолвии, не находя слов для ответа, и в головах их, словно облако, проплывала единственная мысль, Блаженный он, что с него взять, хотя, если разобраться, никто из них так и не знал, что именно нужно брать с человека, который нашёл в себе силы не иметь определения.

Однако, каждый разбойник считал Теофилуса своим ближайшим другом, скорее всего из-за его совершенной безобидности. Хотя дрался он как лев, и даже немного играючи, и ста-

рался не убивать без осознания угрозы для своей жизни, но если ему и приходилось это делать, то делал он это с любовью. А вот тут-то становилось страшно даже его друзьям, позже старавшимся не вспоминать то, чему они оказались свидетелями. Считал он себя рабом божьим и верил в то, что языком его поступков говорит Сам Вездесущий, а потому не испытывал никаких угрызений совести ни при каких обстоятельствах. «На всё воля Божья! Он всё знает, Он всё видит!» — часто повторял Теофилус. Единственный вопрос, который его смущал и на который ни один из священников или половецких шаманов не мог ему ответить, был: «Почему этот монолог временен?»

Показались стены монастыря, всё еще опутанные лесами и стремянками, по которым, точно превратившиеся в людей муравьи, молча и с какой-то бесконечной усталостью ползали строители, укладывая камни и лишь изредка нарушая тишину сухим постукиванием кельмы, и караван, втянувшись в гостеприимную тень ворот, замер здесь на ночлег, ровно на то время, что требуется вечности, чтобы сменить гнев на милость, а погонщикам — чтобы снять с мулов дюжину тяжёлых мешков с зерном и заменить их корзинами с сушёными грибами, и это милосердное превращение было тотчас оценено животными, чья поступь, когда их уводили к конюшням, стала легче, а потом и ровные звуки стройки окончательно утонули в шуме ветра, гулявшего в верхушках вековых буков и разносящего по ущелью запах остывающего камня.

Сёма, грея руки у первого разожжённого в сумерках костра, прервал затянувшееся молчание вопросом, который давно уже просился наружу:

— Ты только посмотри, Теофилус, как они строят, будто не камни кладут, а вечность замуровывают, и ведь неспроста всё это, — продолжал он, глядя на тёмные громады построек, — говорят, что у исмаилитов монастырей отродясь не водится, якобы нехорошо человеку человека избегать и прятать свою душу за засовами, ибо в обществе правда обитает, а не в уединении, где разум предоставлен самому себе и своим призракам. Община, вот что главное, — наставлял он невидимого слушателя, — а не какое-то там собственное «Я», которое только и знает, что раздуваться от гордыни, и чем детей в доме больше, тем жизнь и легче и зажиточнее, ведь детские руки — это завтрашний хлеб и нынешняя радость, а вот как они в монастырях без детей-то живут, ума не приложу, неужто думают, что Бог оценит их одинокую скуку выше, чем весёлый гомон за общим столом, где каждый рот — это благословение, а не обуза, и где жизнь течёт и множится, не зная искусственных границ, возведённых человеческим страхом перед собственной природой.

Теофилус, укладывая попону на плоский камень поближе к огню, словно пытаясь согреть не только кости, но и саму память о долгих дорогах, продолжил:

— До жизни монашеской сперва дорасти надо, а может и вовсе перерасти самого себя, как дерево перерастает изгородь, ведь у них, будь то грек или армянин, в почете одно — уйти в самую глухомань, в пустое место, где ни души, ни крика, лишь бы молитва их в базарном шуме не тонула. Только вот они мне так и не сподобились растолковать это с той простотой, чтобы я, грешный, сразу уразумел и за ними поплёлся, — продолжал он, дёргая край грубой ткани, — да и не одинаковые они вовсе, как может почудиться сперва, византийцы те всё больше блаженства в небе ищут, в облаках витают, им слово святое превыше всего, а армянин — тот человек земной, он общине служит и в грамоту упёрся крепко, для армянского инокa книжку старую сберечь или рукопись переписать — такой же подвиг перед Господом, как долгий пост или ночное бдение. Для них ведь камень не просто булыжник, он силой наделён не меньшей, чем дух, не зря люди сказывают, будто в основание этого места положили хачкар, тот самый крест-камень, что привезли из Ани, из их древней столицы, и камень этот столько пыли и слёз армянских в себя впитал, что ещё до этих стен и сводов вокруг него уже жизнь теплилась, часовенку малую сладили, и шли к нему, как к живому существу, веря, что в холодном туфе заперта их надежда когда-нибудь всё же вернуться домой.

БОГИ

Дневной зной сменился прохладой и разговор у костра неизбежно повернулся к Сурб-Хачу и тем самым слухам о тайном подземном ходе, что якобы тянется от алтаря в самую глубь горы, скрывая сокровища или древние страхи, но Данила, помешивая угли, лишь усмехнулся, заметив, что в каждом таком камне живёт не один лишь палестинский посланник, и тогда, точно сорвавшись с цепи, каждый из разбойников принялся называть своего бога. Смешно было наблюдать, как эти неграмотные и разноязыкие головорезы тщетно пытались выбраться из плена собственного понимания таинственных сил, пробираясь путаной метафорой подземного хода, пусть даже всего лишь словесной, который, если вдуматься, только и предназначался для того, чтобы выпустить однажды мученика, самого себя туда загнавшего, на вождельённый и безопасный простор, где слова уже не имеют значения, а свет един для всех.

Выбрав Сёму, как наиболее глубоко задумавшегося из всех созерцателей костра, ставшего в тот миг единственным кругом света в бесконечной и «многобожной» темноте крымских гор, Данила, чей голос прозвучал тише треска прогоревших ветвей, спросил его, словно желая вытянуть из этой густой тишины хоть какую-то истину, способную оправдать их долгое молчание перед лицом вечности:

— Слыхал ли ты про Новгород? — и начал рассказ про город вольный и гордый, где на берегах Ильменя волхвы издревле вели свои бесконечные беседы с духами лесов и вод, полагая, в простоте своей, что их боги вечны, как сам мох, пока не явились к ним киевские разувёры, принесшие в складках своих одежд новую, византийскую правду, и вот, когда один такой киевлянин, чья рука привыкла к весу меча больше, чем к крестному знаменю, спросил волхва, что пророчат ему боги, жизнь долгую или короткую, старик, вместо того чтобы раствориться в тенях, самонадеянно ответил, что жизнь его будет долгой, ибо боги любят своих верных слуг, но не успело эхо этого ответа затихнуть, как сталь рассекла воздух, а заодно и голову провидца, и киевлянин, вытирая клинок, лишь усмехнулся; глядите, мол, ничего-то ваши боги не смыслят, раз не уберегли своего любимца, и с этого самого мига у вас будет один бог и один дух, потому что против силы довода, подкреплённого смертью, не устоит ни одно заклинание, и ильменские люди, глядя на то позорное бессилие своих кумиров, оставили веру отцов, соблазнившись не только страхом, но и ромейской пышностью, ведь если сравнивать красоту храмов и то невероятное количество золота, что сияет в их алтарях, ослепляя всякого, внутрь входящего, то старые боги, жившие в корнях деревьев, покажутся просто нищими попрошайками.

— Или не слышали?

Народ тяжёло молчал, отрицательно покачивая головами. Тут взял слово Ногай:

— Вот мне дед рассказывал, что когда русы были язычниками, они были непобедимы. Свирепые вепри они были, русы эти, почти как мы, татары сегодня, и с ними воевать никому не пожелаешь. А вот когда они религию ромеев взяли — стали они относиться к человеку по-другому. Они-то, как совершенствование духа это восприняли, а мы — как проявление слабости. Теперь мы степью владеем, всеми караван юлы и гардариками их когда-то непреступными, а они нам дань платят. Потому что у нас богов много, а у них только один. Один в поле — не воин!

Данила поковырял палкой в костре и продолжил:

— Я вот в случай верю. Боги меня давно оставили, а вот случай иногда выпадает добрый. Хорошо, когда всё хорошо идёт, но вот иногда случается беда. Для вас это — наказание Божье, а я его не ведаю, да и не нать мне. Надо порешать — порешаю. Своих мозгов нет — за чужими схожу. Не развалюсь. Не смогу решить — переживу. Сам себе хозяин: в одиночку пришёл, в одиночку уйду. Да и лицемерие кругом сплошное. Вот, взять хотя бы тебя, Сёма: никакой ты не иудей, раз заповедями пренебрегаешь. Это большая честь быть избранным, но всё имеет

свою цену, и сувлаки айрагом тебе запивать запрещено, как и по субботам грабить. Так что, спустись на землю и перестань корчить из себя звезду ханаанскую. Вы потому так империй боитесь, что в них порядка требуют, а если в земле какой бесчиние случается несусветное — так вам там и кормление и место.

— Извини, Данила, но мы — народ свободный и всегда за свободой идём, а не за деньгами, как ты думаешь. В империях свободы нет, поэтому и нас там нет. Чиновник нам первый враг. Не человек, а рынок всё порешает. Видел ты, как вчера Ногай с базара пять ниток бус принёс? Зачем они ему? Однако... Когда Ногай увидел, по какой цене их генуэзец продавал, он чуть не поперхнулся от жадности и сразу купил, не задумываясь. Все беды в этой жизни от жадности. Она — первый враг для человека. На рынке ещё и не такие метаморфозы с человеком случаются. Бывает и тихоня убийцей становится, а разбойник — покупателем.

Сёма, наверное, рассказал бы что-нибудь ещё, но увидев налившиеся кровью глаза Ногай, замолчал.

Тут подал голос молчаливый разбойник, чьё лицо до самых глаз скрывала тёмная повязка, пропахшая дорожной пылью и старой кровью, он цедил слова медленно, словно нехотя делясь добычей:

— Дорогу-то в Сугдею кто, по-вашему, бьёт, — спросил он, — сами монахи её в камне и вырубают, ну, рабов когда припрягут, а чаще всё своими мозолями, Сурб-Хач — это ведь не просто обитель, а торжище великое, почитай, узел на купеческом пути, и если б какому святоше приспичило от мира скрыться, он бы в Сурб-Стефанос ушёл, в самую глушь, где только волки да скалы, ведь тому, кто истинно Бога взыскует, люди — лишняя помеха, только тень на свет бросают. А если кто от людского плеча зависит, если ему подай вовремя и чашу, и слово доброе, так тому Бог нужен лишь для подстраховки, вроде запасного коня в обозе, на случай, если дорога крутой станет, ведь ежели человека рядом вдруг не окажется, чтобы подсобить, вот тогда у него вся надежда на Всевышнего и просыпается, а до той поры он и земным теплом не брезгует.

Сёма так и не уловил тонкой нити, коей разбойник связал шумное торжище с безмолвным Богом, а потому решил распутать этот узел по-своему, черпая правду из собственного нехитрого опыта:

— Правильная мысль, — буркнул он, швыряя ветку в костёр. — Я когда один на охоту иду, или на дело какое, всегда батюшку рядом представляю. Или брата старшего. На худой конец — матушку. Так я сильнее делаюсь. Непобедимым, если хочешь. Ещё пацаном заметил: пока с ними рука об руку был — всё ладилось. Как стал один куковать — пошли загвоздки да удача отвернулась. Вот и приучился выдумывать, будто я не один. Да и потом, в нашей культуре не пахарь колосья жнёт, думая, что хлеб ему принесет спасение, а человек человека, так мы связи и знакомства собираем, потому как когда нет ни хлеба ни воды, но есть знакомый двор, так и не только миска похлёбки найдётся, но и какая никакая постель. Жизнь порешает, когда в мошне пусто и во рту сухо. Рынок связей — он поважнее денежного будет. А дед у меня был — кремень, древний, как эта скала. Как за работу принимался, завсегда со мной, малым, разговоры вёл. Совета спрашивал. «Как думаешь, сарапон, — скажет, — гвоздик взять большой или который помельче?». Я ему: «Бери маленький, деда». А он усмехнётся в бороду, отпилит, прибьёт и выдаст: «Нет, гвоздь надо побольше брать, маленький не потянет». Сделает по-своему, короче. Я ему нужен был только для важности. У остальных своя работа была, в его помощи не нуждались. А тут он — защитник малых и сирых, при деле. Но мне приятно было, что совета спрашивают. Он спрашивал и не слушал, я слушал и не спрашивал. Вот такая гармония соблюдалась. Я думаю, это и есть Бог. А кто такой «сарапон» — до сих пор не знаю. Спросить не успел, рынок жизни его раньше порешал.

И пока трое разбойников, чьи лица в пляшущем свете пламени казались масками, вырезанными из сырой кожи, мерились своими богами, словно те были товаром на невольничьем

рынке Каффы, и один перевозносил Христа за его долготерпение, надеясь, что оно распространится и на его собственные грехи, а другой поминал суровых готских духов, требующих крови и верности, а третий — древних пророков, чьи имена тонули в винном перегаре, Данила-джан молчал, чувствуя, как этот шум слов разбивается о великую тишину, обступившую их лагерь, и в этой тишине, укрытой мхами на остывающих дубовых стволах, проступала иная, пугающая своей простотой истина, та самая, что веками вела степняков через бесконечные равнины, не требуя от них ни золочёных алтарей, ни сложных догматов, ибо для тех, кто родился в седле, мир духов не прятался за иконами, а был разлит в самом воздухе, в дрожании марева над горизонтом и в шелесте ковыля, и это была простота всемирная, где бог не имеет лица, потому что его лицом является само Синее Небо, величественный и бесстрастный Тенгри, который не судит и не прощает, а просто пребывает над всеми — и над князьями, и над рабами, и над Данилой с его бандой, — взирая на людскую суету с тем бездонным равнодушием, которое и есть высшая форма справедливости, и Данила-джан вдруг понял, что все их хитроумные планы, письма Ованеса и интриги консула Рафаэлло — всего лишь мелкая рябь на воде, в то время как истинный смысл скрыт там, в этой холодной синеве, где нет места ни жадности, ни страху, а есть только вечный круговорот жизни и смерти, ведомый рукою того, чье имя нельзя произнести, не потеряв при этом частицы собственной гордыни.

А ведь именно в этой смене состояний и заключалась суть величия Тенгри. Он не был просто каким-то там дневным небом, он был самим Космосом и Порядком, именами, которые мы пишем с большой буквы, хотя для истинно верующего величие не нуждается в каллиграфии. В мировоззрении древних кочевников ночное небо ни в коей мере не противоречило божеству, а скорее дополняло его образ, своего рода Вечность и Единство, которое вовсе не исчезает с заходом солнца, а лишь меняет лик, подобно человеку, надевающему маску для сна. Чёрный цвет ночи воспринимается тогда не как отсутствие бога, избави нас Всевышний от такой пустоты, а как его бездонная глубина и таинственность. Ночью Тенгри продолжал говорить с людьми, только теперь его словами были звезды, а Полярная звезда, которую татары называли Тимер Казык, считалась центром мира, вокруг которого божество вращает небесный свод, словно коня на привязи, — образ простой, понятный всякому, кто хоть раз держал в руках недоуздок.

Был в этой тьме и свой свет, потому что Умай, женское начало, и Луна, именуемая Ай, отражали волю Тенгри, пока Солнце отдыхало, ведь даже светилам нужен покой. Для степняка небо всегда оставалось живым организмом, синим днем, чёрным ночью, грозовым в минуты гнева, но всегда одним и тем же всеобъемлющим куполом, и любопытно, даже весьма примечательно, что у татар до сих пор сохранилось выражение Тенгре кузе, означающее Око Тенгри, которое видит нас даже тогда, когда мы сами закрываем глаза.

Все звёзды на ночном небе считались глазами или, если угодно, окнами Тенгри, через которые он неустанно наблюдает за миром, словно хозяин, проверяющий свой скот сквозь щели в стене дома, однако у конкретных небесных тел были свои особые роли, ведь в небесном хозяйстве, как и в земном, каждому положено своё место.

Возьмем, к примеру, Сириус, эту ярчайшую из звёзд, в которой древние тюрки часто видели небесного волка, Кок-Бори, считая его стражем небесных врат или вожаком небесной стаи, а иногда и вовсе называли Стрелой или Луком, направленным на защиту миропорядка, дабы никакой хаос не осмелился нарушить установленный свыше закон. Солнце и Луна, разумеется, почитались как главные очи неба, дневное и ночное, причем Луна, которую именовали Ай-Деде или Ай-Ата, представляла в образе Лунного Отца, освещающего путь и следящего за порядком в часы тьмы, так что Сириус для степняка был не просто яркой точкой, а священным стражем, частью огромного всевидящего взора божества, который никогда не смыкается, даже когда небо чернеет, ведь истинный бог не знает усталости, а его глазам не нужны веки.

Очнувшись от нахлынувших размышлений Данила, пошевелил палкой угли и подбросил дров.

— Чудные вы все, — сказал Данила, — всё чего-то требуете и на кого-то надеетесь. Всё вам кто-то что-то должен дать. Этот кто-то всегда далеко, а ты сам вот — рядом, его даже можно потрогать, — и Данила постучал себя в грудь. — Но нет, Ваша Избранность, надо Бога мучить просьбой о хорошей погоде или удачной охоте. Не стыдно Величайшего мелочами беспокоить? Иди уже спи, пусть тебе твоя покойная мать колыбельную набаюкает, если есть трудности с засыпанием. Ты мне завтра нужен в полном боевом задоре, с отцом и братом по стономам, битва может быть смертельной. Иди готовься...

Когда последние искры и имена божеств истаяли в холодном горном воздухе, а костёр, устав спорить с темнотой, обратился в ровное багровое дыхание углей, разбойники, ведомые привычкой к немому согласию, потянулись к своим кошмам, зарываясь в грубую шерсть, точно звери в норы, и тогда Данила, чья воля оставалась бодрствовать, короткими рублеными словами раздал распоряжения на завтрашний день, предрекая ранний подъём у первой росы и тяжёлый переход к скалистым теснинам, после чего и над лагерем, и над миром воцарился сон, тот великий уравниватель, в котором и праведный монах, и лесной тать одинаково незащитны перед лицом вечности, не знающей ни имён, ни вины.

Ованес, поодаль стоявший всё это время и слышавший все эти откровения, казалось бы, нелюдей, собравшихся у костра, бросил взгляд на стены Сурб-Хача, и ему открылась истина столь же древняя, сколь и сам бутовый камень, из которого был сложен фундамент. Ованес понимал, что хоть армянский монастырь и укреплял веру христианскую, укрывшись в густых буковых урочищах и защитившись глубокой балкой, по дну которой журчал хрустальный ручей, само слово Божье было известно этим склонам задолго до того, как в здешние края донеслась весть о палестинском посланнике, просто звалось оно иначе и сопровождалось духами, что веками обживали эти горы и степи, отчего всё разнообразие ликов Вездесущего, явленное поклоняющимся, лишь по недоразумению именовалось по-разному, порождая бесконечные и непримиримые споры, в которых верующие в одно и то же готовы были истреблять друг друга, не осознавая в ослеплении своём, что с равным исступлением доказывают друг другу белизну снега, слыша в чужих доводах лишь посягательство на Свою правду, а меж тем в этом кровавом круговороте доказательств сам Снег продолжал молчаливо падать на землю, не ведая о том, сколько жизней было положено на алтарь спора о его цвете.

ДОРОГА В СУГДЕЮ

Так уж устроено в молодом и сытом ещё организме, что после дня, до краёв наполненного не столько событиями, о которых и сказать-то нечего, сколько вязкой и тяжёлой усталостью, едва только голова касается подобия подушки, а веки смыкаются, мир исчезает лишь для того, чтобы в то же мгновение обернуться внезапным рассветом, и ты открываешь глаза, обнаруживая, что утро начинается почему-то именно со звука, словно Вездесущий и впрямь до такой степени печётся о своих неразумных питомцах, что опасается озадачить их слишком резким явлением видимого мира, будь то хоть бы и нечёсаная голова спящего рядом поделника, а потому Свыше сначала посылается вкрадчивый стук топора, мерно рубящего дрова для утреннего чая с солёным маслом, и лишь вслед за этим, как подтверждение того, что земная юдоль никуда не делась, проявляется тяжёлое, влажное дыхание мулов, пробуждающее в памяти вчерашнюю тяжесть зерна в мешках и нынешнюю лёгкость сушёных грибов в корзинах.

Это уже потом, когда на место романтики, столь призрачно растворяющейся в первых косых лучах утреннего солнца, бесцеремонно вваливается мир зависти и жадности, тот самый пресловутый разумный мир, который однажды зачем-то был отделён в человеке от мира души, точно ночь отсечена от дня незримым и безжалостным лезвием, и едва стряхнув последние остатки сна, о котором, как и о вчерашних событиях, по совести говоря, и сказать-то нечего, начинается новый путь и рождаются новые мысли, обречённые на то, чтобы, будучи произнесёнными лишь по самой крайней необходимости, к вечеру на следующем привале точно так же кануть в лету, не оставив по себе ни следа в памяти, ни царапины на камне, ибо дорога не прощает лишнего груза, будь то золото Мангупа или слова приветствия встречного, в которых нет веса.

И вот, когда утреннее солнце окончательно изгнало ночные тени из углов монастырского двора, караван, повинувшись негромким командам и привычному звону упряжи, начал своё неспешное восхождение, тяжёло дыша на крутом подъёме, пока за кузней, на самом повороте дороги, не скрылась последняя арба, оставив после себя лишь облако осевшей пыли да заспанного кузнеца, который, потирая глаза кулаками и ещё не вполне вернувшись из мира снов в мир железа, принялся закладывать уголь в свой ненадолго отдохнувший за ночь горн, и в этом мерном движении чувствовалось, как сама летопись этих мест перелистывает тяжёлую страницу, покидая защищённую лесами армянскую главу, овеванную прохладным бризом и молитвенной тишиной, чтобы бесповоротно шагнуть в иную главу — портовую, генуэзскую, суетную, где не только гортанная речь звучала на совершенно иной, корыстный лад, но и сами запахи, эти невидимые вестники перемен, будоражили чувства своим резким, незнакомым прежде естеством, в котором горечь дёгтя и острота заморских пряностей перемешивались с тяжёлым духом водорослей, предвещая встречу с городом, где каждое слово имеет цену, а каждый вдох напоминает о том, что море не знает пощады к тем, кто пришел к нему с пустыми руками.

Этот приморский город, приютившийся под сенью неприступной скалы и давно живущий по закону, гласящему, что нет ничего более постоянного, чем временное, невольно вызывал в памяти образ монастыря, дерзнувшего это самое временное обуздать и превратить его в вечность, пусть и ценой долгого, изнурительного неудобства, именуемого строительством, в котором каждый уложенный камень был не просто опорой, а вызовом самой текучести морских приливов и людской суеты, царящей там, внизу, у самой кромки солёной воды.

И хотя монастырь по праву считался обителью учёности и приютом для священных книг, за его стенами кропотливо возводился иной порядок, основанный на том простом правиле, что никто и никогда не должен знать наверняка, что именно везут ослики в покорном караване — безобидные ли мешки с орехами и шерстью или же драгоценности, зашитые в самую их суть, ведь перевозить всё разом было бы безумием в лесу, который хоть и знаком местному жителю

до последнего пенька, но таит в себе залётных лиходеев, не боящихся ни крови, ни Бога. А что до рыночных легенд о подземном ходе, тянущемся от монастырских келий до самых городских окраин, то в них, пожалуй, больше правды, чем вымысла, ибо тайна, чтобы оставаться тайной, нуждается не только в тишине, но и в надёжном пути под землей.

— Видел я у одного грека подвал с двумя входами, — прервал монотонность пути Теофилус. — Не ленивый такой был грек, скажу тебе. Выкопал два входа/выхода, причём одно обычное — парадное, а вот второе — вообще неприметное. Бывалый такой грек оказался. Хазары ли то были, не помню точно, или половцы, но однажды ввалились они в город и учинили грабёж. Кто в лес не удрал, те попрятались. Вот и грек мой, спрятались они всей семьёй в подвале. Дверь была — тараном не пробить. Еды в подвале хватало. Другое дело, что темно и воняет, потому что, как ни крути, нужду справлять приходилось да и остатки еды начали подгнивать. Но всё же неделю отсидели. Половцы-хазары больше недели задерживаться не стали, нашли пропитание в другом месте, а выкуривать семью из подземелья, осаждая его больше недели смысла не видели. Что они там вообще хотели увидеть-то или пожить чем-то необыкновенным намеревались?! Ушли, значит.

— Вот и придумал грек выкопать запасной вход/выход на случай, если ещё раз пришельцы обложат, — продолжал бородатый стражник. — Как им в голову не пришло дверь подвальную сжечь, непонятно... Но грек этот выкопал второе вход/выход ведущий под стог сена, за домом, где оно обычно и хранилось. Теперь через него в случае нападения можно было выбраться, оставаясь незамеченным, всё вокруг оглядеть и, если за домом никого не окажется — потихоньку дать дёру в лес. А там, ищи-свищи. Там местные каждую травинку знают.

— Соответственно и монахи, разумно поразмысля, выкопали запасной ход на случай внезапного нападения или безвыходной ситуации и, конечно, ни в какой город он не ведёт, — ответил Сёма. — Мыслимо ли: три мили под землёй ковырять. Вот послать гонца за подмогой вполне возможно. Хотя, кто сегодня поверит, что в этом убогом ските с оборванными монахами есть какие-то драгоценности или деньги. Однако, они строят. Почти каждый караван два-три камня да подвозит и оставляет. Так, глядишь, лет через пятьдесят и крепость, достойная сугдейской или феодосийской здесь появится.

— Мы тут пока в равновесии находимся, — отозвался Теофилус. — В принципе, в совершенно неплохом равновесии: греки, армяне, генуэзцы — всё христиане будут. Понятное дело, что каждый мечтает прибрать к своим рукам богатство другого, но до крови дело не доходит. А вот когда из степи колючий декабрьский ветер приносит орды половцев, вот тогда народ-то про свои внутренние распри забывает. Вот тогда этот город становится полисом-крепостью, и с налёту его не взять.

Было предельно ясно, что эти два мира подобны свинцу и железу, которые, сколько ни плавь, никогда не станут единым сплавом, и между ними, на самой кромке разлома, замерли люди, чей удел — вечное ожидание беды, ведь в Солхате нет ни высоких крепостных стен, ни верного войска, способного преградить путь пришельцам, с какой бы стороны они ни явились, ибо попытайся жители оспорить волю генуэзцев, те, не тратя слов на увещания, быстро проковыряют в упрямой голове дыру арбалетным болтом, с половцами же и вовсе поговорить не удастся, народ этот неразговорчивый и склонный к простым решениям, так что прежде чем разрубить человека надвое одним взмахом сабли, они никогда и ни о чём его не спрашивают, полагая, вероятно, что все важные вопросы уже давно решены за пределами человеческого слуха.

— Такой разведки, как у половцев, пожалуй, ни в одном народе нет, — вклинился внезапно Ногай. — Их купцы всё уже давно выведали, и донесли куда надо, и договорились с кем надо, и получили обещание в доле с награбленного, и подали знак, когда выступать. Так что, вот ты думаешь, в небе комета с хвостом появилась как знамение Божье, наказание прилетело

за грехи твои и непослушание, а на самом деле это лихие люди мощну свою похудевшую набить решили.

Когда караван, миновав гостеприимные, но суровые тени буковых лесов, оказался на открытом всем ветрам перевале, ведущем к Сугдее, судьба явила им свой переменчивый нрав в виде предательского хруста левого колеса задней телеги, которое, не выдержав веса монастырских запасов и грехов погонщиков, рассыпалось в прах. Возница в ужасе вздохнул, и в этом звуке, вырвавшемся из самой глубины его лёгких, смешались и страх перед гневом хозяина, и бессильная злоба на неодушевлённое дерево, которое так подло предало его на полпути, и он, не смея ещё коснуться обломков, уже видел себя застрявшим в этой балке до скончания времён, поэтому в его голове, точно в лихорадочном бреде, замелькали картины немедленного спасения, где он, не дожидаясь ни плотника, ни чуда, готов был голыми руками вгрызться в заросли кизила, лишь бы сотворить из них хоть какое-то подобие круга, ибо для человека, чей мир вращается вокруг оси, нет ничего страшнее неподвижности, превращающей живой караван в груды мёртвого дерева на съедение степному ветру.

— Хорошо ещё, что я догадался поставить железную ось, — проговорил возница, и в голосе его слышалось то особое удовлетворение человека, чья предусмотрительность наконец-то была вознаграждена случаем. — Теперь давай сделаем новое колесо и продолжим наш путь!

Как будто создание колеса в глухом лесу было делом столь же житейским, как утренняя молитва, и хотя у него не было в запасе ни единого гвоздя, этого железного залога прочности, он твердо верил, что острый топор и кусок выделанной кожи способны в умелых руках творить чудеса, восполняя отсутствие того, что выковано в кузне, ведь в конечном итоге всё в этом мире держится на честном слове и ловкости пальцев. Возница огляделся вокруг с видом знатока, выбирающего жемчужину в куче песка, и добавил:

— Ведь не зря говорят, что в лесу спит ровно столько колёс, сколько деревьев имеют наглость расти вверх, бросая вызов земному тяготению, так что подай-ка мне топор, господин, — и с этими словами он подошёл к довольно толстому дубовому стволу, который, застыв в своём вековом спокойствии, ещё не подозревал, что его вертикальная гордость вот-вот будет принесена в жертву горизонтальному движению арбы.

— Кажется, вот этот подойдёт!

— Ты сначала подумай, — ответил Ногай, — после того как ты его срубишь, понадобится ещё уйма времени чтобы его расколоть, потом тереть камнями, затем просверлить отверстия в досках. И только после этого — закрепить их ремнями. Как-то ночевать здесь мне совсем не хочется!

— А что, если нарезать толстых ветвей кизила, сплести их как щит и закрепить на оси? К вечеру доберёмся!

— Гениально, плут ты этакий, можешь, когда хочешь, волчонок, — потряс кулаком в воздухе Ногай.

— Ну что, вперёд, за работу!

Решётки, сплетённые из гибких ветвей кизила, напоминали воинские щиты, за тем лишь исключением, что они пропускали бы сквозь себя стрелу, а края их стягивало множество кожаных ремней, заменявших отсутствующий железный обод и превращавших эту конструкцию в некое подобие единого целого, и эти сплетения, наложенные одно на другое крест-накрест, точно символы какого-то нового, ещё не ведомого апостолам культа, были насажены на обнажённую ось, став уродливым порождением человеческой смекалки, которое, хоть и вгрызалось в дорожную пыль с каждым оборотом, испуская стон, подобный плачу грешника, всё же позволяло телеге упорно двигаться вперед, пока там, в порту, колесник не исправит содеянное или же нужды пути не заставят купить новое колесо, оставив это творение разбойничьих рук в придорожной пыли.

К хромящей, но всё же начавшей своё движение телеге подошёл сам Рустем, чьё лицо отражало всю меру раздосадованности, какую только может вызвать у торгового человека нелепая задержка в пути, и он с неподдельным интересом оглядел это вращающееся творение, порождённое отчаянием безответственного возницы, после чего, хлопнув того по плечу, заявил, что если нужда заставляет плести колёса из кизила, точно корзины для рыбы, то, стало быть, и сама судьба не прочь посмотреть, как далеко они уедут на этой плетёной хитрости, прежде чем та обратится в щепки.

— Глядите-ка, Сугдея стоит, а колесо моё плетёное ещё крутится — видать, духи этих гор сегодня были добрее, чем я о них думал, — пробормотал оторопев возница. — Лишь бы до колесника дотянуть, а там я эту корзину самолично в костёр швырну, чтобы больше не слышать её плача...

Караван вышел на последний спуск и к закату уже въезжал в портовые ворота, тогда как стража Данилы, предусмотрительно оставив купцов в безопасном и теперь уже знакомом окружении, не медля двинулась в обратный путь к своему лагерю, в который они рассчитывали добраться к самой полуночи, так как перспектива ночевать под кустами под открытым небом их совершенно не устраивала, и они предпочли привычный дорожный мрак и усталость мягкой, но ненадежной траве чужбины.

ПЕЧАТЬ ОВАНЕСА

Голубой туманный вечер с трудом пробивался сквозь узкую щель монастырского окна. Настоятель поправил сумаховую свечу и слегка подрезал фитиль.

— Вот, Рубик-джан, арабские купцы вчера подарили диковинное чудо из страны Японгу, свечу из древесного воска. Как бы я ранее знал, сколько она стоит, ты бы не увидел этого волшебного пламени. Ну, да что переживать за различие в воске, если свет единственный и единый от Господа нашего исходит. Тем не менее, зачем поминать его всеу? Мне надо сделать большую закупку свечей для монастыря, но я слышал, что в Солхате на базаре стало много некачественного воска. Жир стали добавлять. Нет у меня времени ногтём скрести или свечи надкусывать, чтобы проверить истинность товара. Вот в Каффе, там с этим проще, генуэзцы серьёзные штрафы ввели, а то и запретить торговать могут и уж, конечно, всё изъять. У них за этим не станет.

Рубик-джан жил в Солхате с незапамятных времён, настолько давних, что никто уже и не помнил в каком году его семья появилась в городе, хотя формально это было известно, записано, подтверждено печатями, ведь предок его, византийский офицер Вазген, получил здесь землю, право торговать без пошлины и, что куда важнее, негласное разрешение быть полезным всем сразу, а не кому-то одному. И именно это умение быть сразу везде и одновременно сделало его фигуру столь весомой, что даже тогда, когда из Константинополя приходили указы, уже устаревшие по дороге, в Каффе, тогдашней Теодосии, предпочитали не гадать, а спрашивать Вазгена напрямую, словно город понимал, что расстояние важнее титула, а понимание, (точнее понятие) — важнее власти. Монгольской и персидской бюрократии ордынцы обучились очень быстро, поэтому, зная о крепких связях Солхата с армянами Каффы с уважением позволяли Вазгену просто жить в этом городе, не управляя им, но давая ему возможность не позволять чему бы то ни было происходить без его участия.

Каждый день, сердце города — базар, пошумливал своими торговыми рядами, а в предпраздничные дни напоминал рокот реки Чурук-Су, вышедшей из берегов после внезапного селевого ливня. Где же ещё встретишь армянина, как не на крымском базаре. Первые армяне, которыми семья Вазгена стала прирастать, происходили из коренных земель Великой Армении, из полупустынной горной Армении, где земля скупа, но память щедра, где только благодаря совершенным навыкам и глубочайшему знанию можно было возделывать эту скудную почву и жить преуспевающи, имея силы даже угрожать парфянскому царству или сопротивляться Византии. Но не осёдлые цивилизации были угрозой армянам, а быстрые, как удары молнии, налёты монгольских войск, которые, как саранча сметали всё на своём пути, никогда не возвращаясь и, переходя с места на место как смерч, оставляли за собой лишь руины и некрасивых, но живых женщин. Сумевшим избежать смерти ничего не оставалось, как двигаться к своим собратьям туда, где, по слухам, ещё можно было жить. После того, как Армения восстановится, её будут подталкивать другие кочевые племена; теперь это будут Сельджуки, не такие стремительные, но куда более настойчивые. Они будут осваивать новые земли другим чином: медленно двигаясь, год за годом, вытесняя, приучая, переименовывая, и уже через одно поколение дети говорили иначе, молились иначе и не считали это трагедией, потому что трагедией для человека всегда было не то, кому он платит налог, а то, на каком языке он должен молчать и в какого Бога ему запрещают верить. Они уничтожали только непокорных и несогласных. Мастеровых и знающих они всегда оставляли и принуждали работать на себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.